

Н. Долинина

Началось!

Странно сейчас читать обо всем этом, особенно людям моего поколения и старше, помнящим, как сразу, в один день, оборвалась мирная жизнь всей страны 22 июня 1941 года. Но и наша война пришла не ко всем сразу; она уже гремела над Брестом, когда я проснулась в Ленинграде ранним утром от непривычного гула самолетов и, несколько не обеспокоенная этим гулом, уселась на подоконник с «Островом сокровищ», предвкушая длинный воскресный день. И он начался для меня, этот день: мы с подружкой поехали в Ботанический сад и гуляли там, и не сразу заметили, что взрослые куда-то бегут, о чем-то взволнованно говорят, многие плачут. Только часам к трем мы поняли, что началась война, которая для остальных ленинградцев началась на три часа раньше. Так кончилось мое детство, но этого я еще не могла понять.

А где-то в лесу сидели у костров туристы, люди купались в море, восходили на горы, искали в тайге руду, ловили рыбу — у многих из них не было радио, транзисторов еще не существовало. Они узнали о войне на второй, на третий день — они на много часов дольше нас жили мирной жизнью.

Но все-таки тех, кто не знал, были единицы. В этой, нашей войне было радио, и вражеские самолеты, которые в ту же ночь прилетели бомбить Ленинград, и были наши самолеты, отогнавшие их, — долго их не пропускали к городу, до самого 8 сентября — 26 августа по старому стилю; это была сто двадцать девятая годовщина Бородинской битвы, когда впервые бомбили Ленинград; город уже был в кольце блокады, а нас в это время везли по Каме на белом теплоходе из деревни под Ярославлем, казавшейся вначале глубоким тылом, надежно укрывшим ленинградских детей, а потом и там начались бомбежки, мы поехали дальше, на Урал...

Казалось бы, ничего общего между той войной, 1812 года, и этой, выпавшей на долю моего поколения. Не было тогда ни бомб, ни самолетов, не было тех ужасов и зверств, о которых мы скоро узнали; не было, главное, фашизма — но почему же тогда в землянках и госпиталях сорок первого года, при блокадных коптилках люди читали «Войну и мир», как самую сегодняшнюю, сиюминутную книгу, и почему любимым стихотворением всех поголовно — от первоклассника до генерала — долгие четыре года войны было лермонтовское «Бородино»?

Чем больше я думаю об этом, тем острее понимаю, что общее было — не в видах оружия, не в скорости передвижения войск; Толстой понятия не имел о пулеметах, «катушках» и лагерях уничтожения, но он написал и о нас, потому что знал про человека такое, чего хватило на сто с четвертью лет, и когда началась наша война, оказалось, что Толстой заложил в каждого из нас что-то очень важное, о чем мы до той поры не догадывались, и мы бросились к нему — черпать и черпать из неиссякаемого источника его книги душевные силы, стойкость и то сложное чувство, которое называется патриотизмом.

Война вошла в жизнь людей неожиданно — хотя ее ждали, о ней говорили, — она всегда неожиданна, и люди не сразу впустили ее, еще продолжали держаться за старое. Пьер, уже высчитав, что он должен убить Наполеона, по-прежнему ездил в клуб и позволял себе радость иногда обедать у Ростовых; Наташа пела и мучилась вопросом, не стыдно ли это после всего, что с ней произошло; но война уже приблизилась к дому Ростовых с бумагами, засунутыми Пьером за подкладку шляпы; она — в блестящих глазах Пети, в страхе старой графини за сына, в тоненьком старательном голосе Сони, читающей вслух царский манифест: обращение царя к народу...

Ее слушают по-разному: Пьера поразило, что царь обещал «стать посреди народа... для совещания и руководства» — ему кажется, что теперь, перед лицом опасности, Александр I, может быть, выслушает своих подданных, посоветуется с ними: Пьер, как и прежде, мечтает о справедливости, о демократии и добре... Старый граф растроган, его легко растрогать, он повторяет: «Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем», вовсе не предполагая, что младший сын воспримет эти слова всерьез: «Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите, — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...»

Для старой графини все происходящее значит только одно: Петя в опасности. Петя, младший, маленький...

И все эти разные и сложные чувства выражает Наташа: «Вам все смешно, а это совсем не шутка...»

Читая эту сцену, я всегда вспоминаю начало Шенграбенской битвы и общее выражение всех лиц — от солдата до князя Багратиона: «Началось! Вот оно!» Здесь, за еще мирным обедом в доме Ростовых, приходит к ним война: «Началось! Вот оно!..» — и уже не вернуться к прежнему душевному состоянию, война уже бесповоротно завладела этой мирной семьей.

Не случайно на завтра жизнь начинает идти с бешеной скоростью, непривычной для патриархальных Ростовых. Петя побежал смотреть на приехавшего царя, в толпе его чуть не раздавили: все было вовсе не так, как представлялось Пете, но стремление его идти на войну ничуть не уменьшилось.

Еще через день было дворянское собрание. «Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском» — и в этом тоже была война. Никакого совещания с дворянами не было, были сначала обычные разговоры и споры, потом быстро составилось постановление московского дворянства: каждый обязывался представить в армию своих крепостных и полное их обмундирование; потом — короткая растроганная речь царя.

Нигде ни разу Толстой не сказал от себя, от автора, ни одного громкого слова, — наоборот, он посмеивается над теми, кто эти громкие слова произносит; у него никто как будто и не думает о России, а каждый — о себе: растроганные встречей с царем купцы и дворяне пожертвовали отечеству большие суммы, а на завтра «сняли мундиры... и удивлялись тому, что они наделали».

Но из этого ничем не приукрашенного описания будней почему-то возникает ощущение спокойной и величественной силы, которая спасет Россию. Как складывается это ощущение? Наташа со своим «это совсем не шутка»; Петя, рвущийся в армию; два плачущих купца: толстый и худой; старик Ростов, который после встречи с царем «тут же согласился на просьбу Пети», — каждый из этих людей сам по себе, у каждого своя жизнь, свои мечты и заботы; но вот настал час, когда они оказались все вместе; и для каждого из них важнее всего на свете стало то, о чем вчера не думалось, но что сегодня соединило их друг с другом.

А князь Николай Андреевич Болконский после отъезда сына заболел, не выходит из кабинета, не допускает к себе ни дочь, ни француженку; его дом все еще живет прежними внутренними отношениями: умный старик — профессиональный военный — не дает себе труда задуматься о том, что происходит в его стране, и княжна Марья до сих пор не понимает, что это за война.

«Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга, но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны».

Княжну Марью можно понять: она привыкла верить отцу во всем, что касалось политики и военных дел, — отец не выражает никакого беспокойства и занят строительством нового корпуса в своем поместье. Но как же старый князь может не видеть, не понимать надвигающейся опасности?

Может. Потому что старость бессильна и вырабатывает защитную реакцию против своего бессилия. Слишком невыносимо было бы для старого князя понимать, и потому он инстинктивно вырабатывал в себе непонимание: никогда не говорил про войну, «не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне».

Дочь не видит, как он одряхлел. Ей, живущей с ним рядом, незаметно, что старость уже овладела им. Но и сын в последний свой приезд заметил только «недостаток одного зуба» и усилившуюся раздражительность отца; сын и дочь тоже инстинктивно вырабатывают в себе защитную реакцию: не дать себе понять, что старик уже подступает к грани, отделяющей живых от мертвых.

Грустно и тяжело читать, что старый князь «каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее; то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной...»

Он искал места, где не мучили бы тяжелые думы, но на каждом новом месте опять приходила бессонница, и опять терзала усталость, накопленная за долгую жизнь, и невыносимо было думать о своем бессилии, о том, что жизнь прошла...

Кому об этом расскажешь, с кем поделишь эту ношу, кто поймет? Старость одинока, и нет спасенья от одиночества ни для кого; даже сын, умный, любящий, преданный отцу князь Андрей, — и он не поможет: он молод, здоров, полон сил — сегодня ему не понять отца.

Только своим последним одиночеством занят старый князь. Уже первое августа (а двадцать шестого будет Бородинская битва); уже войска Наполеона взяли Витебск, и князь Андрей пишет, что надо уезжать из Лысых Гор, лежащих «на самой линии движения войск», но старик прочел письмо сына, видел нарисованный его рукой план кампании — сын считал, что ему все это по-прежнему интересно и понятно, а он ничего не увидел, ничего не понял, мысли его были далеко.

Оставшись один в кабинете, он может, наконец, спокойно заняться тем единственным, что важно ему сейчас, — бумагами, которые после его смерти будут переданы царю. До последнего часа он надеется принести пользу, верит в свои «рemarkи», в то, что царь прочтет их и выполнит его волю, его разумение пользы государственной.

И еще — новый корпус нужно построить в Лысых Горах — не для себя: для Андрея, для Марьи, для Николеньки. До последнего часа он будет заботиться о них; дети его не понимают, но он сделает для них все.

Призвав управляющего Алпатыча, он отправит его в Смоленск за почтовой бумагой — писать «рemarkи», за лаком, сургучом, задвижками к новым дверям, за переплетным ящиком для завешания...

Все это — самые важные дела, нет важнее; некому их передоверить, все перепутают, все он должен делать сам, а он устал. «Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги». Все тяжело — подвинуться, поднять эти ноги, лечь, встать, одеться — все тяжело, но кому расскажешь об этом, кто поймет! И еще что-то гвоздит усталый мозг: что-то было важное, говорили за обедом... «Княжна Марья что-то врал. Десаль что-то — дурак этот — говорил». Как вспомнить? Кому можно открыть, что он, мудрый и гордый князь Болконский, забыл главное?

Письмо Андрея. Один, ночью, в тишине, старый князь может, наконец, признаться себе: есть что-то важнее, чем его одиночество и его бессилие; надо впустить это важное в свою жизнь, уже нельзя от него укрыться, спастись; придется понять, придется расстать-

ся со своими заботами, со своей усталостью и болью — вот оно, вошло в его жизнь. Началось!

Заставив себя прочесть письмо, позволив себе, наконец, вникнуть в его смысл, Николай Андреевич мгновенно, как раньше, все понял: «Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там...» Через четыре перехода! Так думает не бессильный старик, это генерал-аншеф Болконский проснулся в нем, военный человек, привыкший мерять расстояние переходами войск, и на мгновение он увидел себя молодым, «ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина...» И все страсти прежних лет проснулись в нем на мгновение, но все это было, и было так давно, и ушло. «Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»

Война пришла в жизнь молодых и сломала эту жизнь: она убьет князя Андрея; она лишила Соню счастья, потому что эта война отнимет у нее Николая; она убьет Петю — мальчика Петю, еще не начавшего жить, но и у старика она отняла право умереть спокойно. Война ограбила всех.